



## Старшая сестра

Ближе других к реке в нашем дворе стоял девятиэтажный «сталинский» дом, с виду монументальный, но на самом деле хрупкий, как песочное тесто. Однажды в нем меняли трубы и вместе со всем прочим срезали ржавый радиатор в подъезде, на первом необитаемом этаже. В стене тут же образовалась трещина, которая стала стремительно расширяться и ползти ввысь. Из нее сочилась мутная вода, пахнувшая плесенью. Как будто дому нанесли рану, задев его сокровенные жилы. По ночам он скрипуче стонал и вздрагивал — по крайней мере, так утверждали жильцы, просыпавшиеся от звона фамильного хрусталя в буфетах. По двору пополз слух, что в ЖЭКе установили: дом медленно, но верно разрушается, разламывается пополам, и одна половина сползает с береговой возвышенности в реку, и поделаться ничего нельзя.

— Доремонтировались! — причитали дворовые бабушки.— Стоял себе и стоял, зачем трогали?

Трещину стягивали специальными скобами, замазывали — ничего не получалось, дом выплевывал

инородные тела. Так бы он и погиб, а с жильцами случилось бы самое страшное — переселение прочь из нашего двора в ледяную пустыню каких-нибудь Черемушек с их неодушевленными многоэтажками, там бы они все и сгнули. Но, на счастье, их стена-ния достигли ушей старейшего работника, даже, если можно так выразиться, красугольного камня нашего ЖЭКа — не зря же его Петром Васильевичем звали, что при должной фантазии можно перевести как Камень Царский. Петр Васильевич давно отошел от дел и посвятил остаток дней безгрешному безумию: отправился, как давно мечтал, в кругосветное плавание на собственном балконе, оборудовав его штурвалом, всякими морскими приборами и ежевечерне кидаемым соседям на «kozyрек» сувенирным якорем на веревочке. С балкона он и крикнул, что батареею надо вернуть на место, причем ту же самую вернуть, ржавую.

— Ибо держится на ней дом и ныне, и присно, и во веки веков! Вредители! — добавил Петр Васильевич и бросил якорь.

И отчаявшиеся жильцы добились того, что батарею вернули на место, да еще приковали для надежности к стене дополнительными железками. И дом перестал разламываться и сползать в реку, а трещина позволила наконец залить себя цементом.

А мы усвоили, что всякий ремонт — зло.

В этом самом доме, на третьем этаже, была большая квартира, населенная тремя неведомо кем приходящимися друг другу бабушками: Вера красилась

в морковно-рыжий и любила крупные броши, Надежда ходила с элегантной тростью и уже не считала нужным краситься, а у Клавдии, самой старшей, волос не было вовсе, и на голой бежевой голове она носила сложно намотанный тюрбан. Старушки мирно вязали что-то из разноцветных ниток каждая в своей комнате, осенью вместе варили на кухне яблочное варенье, а зимой пили с ним чай — опять каждая в своей комнате. Вот только старушек было три, а комнат в квартире — четыре. И на дополнительную жилплощадь никто не претендовал, хоть Клавдия, к примеру, и уютилась в совсем крохотной комнатке, которую называла, подхихикивая, «мой гробик». Лишняя комната уже много лет была заперта.

У нас поговаривали, что это та самая комната. С кладовкой.

Когда-то — как обычно бывает в таких историях, мы не знаем точно, когда, знаем только, что между последней большой войной и первым космонавтом все случилось, — жила в этой квартире образцовая семья: папа, мама, старшая дочь Зина и наследник Павлуша. Папа был военный, а мама — красавица, дочь старого большевика, мирно и в почете скончавшегося. Мама с папой души в Павлуше не чаяли, обряжали в матросские костюмчики, задаривали игрушками, целовали в каждую нежную складочку не расправившейся еще, на вырост природой выданной кожи. И тихоню Зиночку, конечно, любили, как же не любить, ведь дочка, ведь учится хорошо, ведь говорили врачи, что слабая здоровьем мама никого уже больше после нее

не родит. Зина же любила шить, иногда засиживалась допоздна, увлекшись какими-нибудь лоскутками. Мама говорила:

— Спать иди, а то школу проспичь. Будешь плохо учиться — никуда тебя не возьмут, только в швей-мотористки.

Сидевший у мамы на руках Павлуша начинал смеяться и подпрыгивать — ему ужасно нравилось слово «мотор-р-ристички». Мама тоже смеялась. И от этого рассыпчатого домашнего смеха начинала улыбаться и Зина, пряча поспешно свое рукоделие в сундук. Хоть и не прочь она была стать швеей, и ничего в этом обидного не было — обидно было скорее то, что мама над ней смеется,— Зина была уже большая, одиннадцать лет, и все понимала, знала, что мама ей добра желает, что маме виднее.

А еще Зина мечтала о кукле. О большой красивой кукле, чтобы шить ей платица и юбочки, и делать шляпки, и заплетать ей косы. Когда они с мамой ходили в «Детский мир», чтобы купить Павлуше железную дорогу к Новому году или Зине школьную форму, она всегда останавливалась в кукольном отделе. Да что там останавливалась — застывала, обмирала, прирастала к исшарканному магазинному полу и во все глаза глядела на легионы пластмассовых красавиц, вдыхала запах — новенькие куклы, пухлощекие милые девочки, обладали особым сладковатым химическим ароматом, еще одним напоминанием об их нечеловеческом происхождении.

— У тебя же полно всего,— пожимала плечами мама, не видевшая разницы между жалкими пупсами,

мягкими игрушками — и настоящей куклой.— И ты уже большая. Хочешь, возьмем тебе краски?

Краски Зине были совершенно не нужны, но она послушно кивала.

В общем, хорошо жила семья, на широкую ногу, не стесняясь того, что жизнью довольны. Яркие, шумные, мама светлое всегда носила, платья шуршащие, с кружевом, папа молодцеватый, в орденах, Павлуша толстенький, крикливый, глаза пуговками, и Зина рядышком — спину держит прямо, бантики на косах ровные, колготки на коленке заштопаны, но искусно так, и не видно почти... Перешептывались во дворе, что хорошо-то оно все хорошо, но поостеречься бы им, поберечь свое счастье, чудом ухваченное, от чужих глаз. Ведь глаз со слезой — всегда дурной. А они не суеверные были, посмеивались только.

И пришел к ним как-то в гости один человек, Щуплецов была его фамилия. Он маму знал с давних-давних пор, когда мама была еще старшеклассницей с талией «в рюмочку». Дружили они крепко, гуляли, на крышу школы лазали, ребята поменьше их дразнили женихом и невестой, а мама рдела и глаза опускала. А потом война, Щуплецов на фронт отправился, как все, и пропал без вести. А потом — столько всего, что мама о нем и думать забыла. Потом победили, потом она с папой познакомилась — видный, при орденах, все девицы по нему томились, а он ее выбрал. Сколько уж лет прошло, и вдруг Щуплецов объявился. С чемоданом, будто только что с вокзала, бутылкой и кремовым тортом. Одна нога у него теперь была деревянная, на ремешках — он показывал папе, как крепится, тот очень заинтересовался. С па-

пой они как-то сразу подружились, выпили, песни пели, мама уж не знала, как гостя выпроводить. Наконец кончилось все, до капельки, Щуплецов собрался уходить на нетвердой своей ноге, и уже в прихожей вспомнил:

— Я ж детям... я ж гостинцы принес!

Павлуше досталась машинка, а подарок для Зины он все искал, искал в чемодане, ворчал себе под нос, Зина уж сникла — забыл, наверное, ну и ладно, она уже большая. И тут Щуплецов достал из чемодана куклу с блестящими черными кудрями. Лицо у куклы было нежное, задумчивое, почти взрослое. В крохотном приоткрытом ротике виднелись белые зубки. Оттопыренными пальчиками кукла будто придерживала в кокетливом книксене платье с оборками. Зина такой роскоши сроду не видывала. Похолодев от восторга, она молча схватила куклу, и та, широко распахнув изумрудно-зеленые глаза, в которых перламутровые лучики разбегались от зрачка, как велосипедные спицы, мелодично проныла:

— Ма-ма!

— Придумают же. Трофейная, что ли? — заинтересовался папа, взял у Зины куклу, задрал платьице и принялся разглядывать короткое гладкое тело.— Точно, трофейная, тут клеймо нерусское... Ве... Ва...

— Мировая вещь,— подмигнул Зине Щуплецов.

Подошла мама, тоже уставилась, хмуря тонкие брови, на выдавленные у куклы на боку мелкие латинские буквы.

— Тут затерто. Ве, эн, «дэ»... Ванд... Может, Ванда? Имя такое есть — Ванда. И почему трофейная, вот, видишь, над «эн» — вроде наша звездочка.

Папа прищурился, пытаясь разглядеть звездочку.  
— Ванда,— выдохнула Зина и умоляюще протянула к кукле руки.

— Смотри, не сломай,— сказал папа, отдавая ей Ванду, и пошел провожать Щуплецова.

Больше тот не приходил, опять куда-то провалился.

А у Зины наступило счастье. Поначалу она даже ночью просыпалась, включала лампу, чтобы поглядеть в изумрудные глаза Ванды, и снова, как в первый раз, холодела — вот оно, счастье. Бархатистый на ощупь материал, из которого была сделана кукла, приятно теплел под пальцами, Зина гладила ее и засыпала, прижавшись щекой к округлой, чуть согнутой в локте ручке. С куклой она отныне не расставалась, спать укладывала рядом с собой на подушку, шила ей обновки из лучших лоскутов. Во двор выносить боялась, хотя очень тянуло похвастаться перед другими девочками — но ведь захватают, сломают или того хуже — не стерпят и украдут. Зато сажала Ванду за обеденный стол и сосредоточенно кормила с ложечки — это она-то, взрослая Зина, которая уже почти перестала верить в то, что игрушки все-все понимают и оживают по ночам! Мама, отвлекаясь, в свою очередь, от кормления Павлуши, делала Зине замечания: за столом нужно есть, а не баловаться, убери локти, убери куклу, испортишь ведь, а она дорогая, может даже и заграничная. Зина переглядывалась с Вандой, и в уголках кукольного ротика ей чудился изгиб еле заметной улыбки.



Как-то мама заглянула поцеловать Зину перед сном. Отодвинула куклу, которая лежала, как всегда, на подушке, наряженная в новое, с иголки, синее платье.

— А я, когда вырасту, буду красивая, как Ванда? — сонно пробормотала Зина.

— Будешь, — ответила мама и машинально посмотрела в зеркало — при слове «красивая» она всегда смотрела в зеркало и делала губами так, будто размазывала помаду.

— А умная, как Ванда?

Мама рассеянно улыбнулась:

— Какая же она умная? Всего одно слово знает.

— Она много слов знает, — возразила Зина. — Она иногда ночью со мной говорит.

— Что говорит?..

— Непонятно. На каком-то другом языке.

— Все ты придумываешь. А врать нехорошо.

Вот фантазерка растет, подумала мама. Но вроде хорошенькая, так что это ничего, хорошеньким можно.

И все шло спокойно, своим чередом — до тех пор, пока с Вандой не вздумал поиграть наследник Павлуша. Зина всегда закрывала от него дверь в свою комнату, но в этот раз то ли Павлуша разобрался наконец, как правильно поворачивать ручку, то ли нехитрый замок не защелкнулся... Когда Зина вернулась из школы, ее «девичья горенка», как называла комнату мама, была разгромлена. Павлуша изрисовал розовые, в мелкий цветочек обои наклюявленным

карандашом, распотрошил мишку и собачку, вытащил из тайника жестяную коробочку с сокровищами и рассыпал заколки, брошки, бусины по всему полу, а самое главное — добрался до Ванды, которая очень развеселила его своими вскриками: «Мама! Мама!» Стремясь, как истинный естествоиспытатель, доковыряться до источника звука, Павлуша разорвал на Ванде платье, долго крутил и так и эдак, а потом решил посмотреть в голову и вдавил внутрь правый глаз, который перестал открываться.

Задыхаясь от горя и гнева, Зина схватила свое оскверненное сокровище в охапку, и Ванда издала страдальческий басовитый стон:

— Ма-а-ы-ы-а...

Видимо, голосовую коробку Павлуша ей тоже повредил.

Родители наследника не ругали, наоборот — умилялись и смеялись до слез над его разрушительным напором. Зина плакала, топала ногами, показывала царапины на гладкой куклиной коже, но все тщетно. Мама даже рассердилась на нее — Павлуша ведь просто играл, он не нарочно, он малыш, а Зина большая девочка и должна понимать...

— Всегда ему все! — завизжала Зина. Столько всего кипело у нее внутри, столько всего она хотела сказать — и что она всегда, сколько себя помнит, была обязанной все понимать большой девочкой, и что мама никогда не защищала ее так, как Павлушу, который всегда был малышом и всегда надо было ему уступать, и что она никогда не любила никого так, как

Ванду, зеленоглазую царевну Ванду, и пластмассового мизинца которой не стоит дурацкий Павлуша, которому все всегда было можно. Много их было, этих «всегда» и «никогда», они сбились в горле горьким комом, и Зине только и оставалось, что выкрикивать срывающимся голосом: — Всегда ему все! Всегда!..

— Ты что, ревнуешь? — строго спросила мама. — Брату завидуешь? Завидовать нехорошо.

Ночью Зине приснилось, что Павлушина детская вся заставлена куклами, от пола до потолка, и даже кровать сделана из кукол, а на спинке вместо латунных шишек — кукольные головы. Сияли стеклянные глаза, топорщились пышные юбочки, пахло сладко, как в «Детском мире». Зина вбежала в детскую с папиной гимнастической палкой и принялась крушить ею игрушечных красавиц. Они ломались легко, как-то даже с удовольствием, глазные шарики веселым фейерверком разлетались во все стороны, отскакивали от стен. И Ванда была где-то рядом, помогала Зине добивать своих сестер, бормотала что-то на своем непонятном языке, и слышно было, как легко постукивают по паркету ее крошечные ножки.

В буйном сне Зина ворочалась, вскрикивала, шарилась руками по постели и все хотела прижать к себе Ванду, которую уложила, как обычно, на подушку. Но никак не могла ее найти.

Вскоре Павлуша заболел. Он стал вялым и плаксивым, а на его тугом тельце появилась странная сыпь:

воспаленные круляшки размером с копеечную монету, сочащиеся сукровицей. В поликлинике сказали, что это аллергия, запретили давать Павлуше все красное, все сладкое и еще почему-то хлеб. Павлуша не привык, чтобы ему отказывали во вкусненьком, и начал плакать еще и за столом. Он худел, а сыпи на коже становилось больше и больше. Мама сбилась с ног, добывая целебные травяные сборы, таинственное мумие и сахарные шарики от полумифического гомеопата, который вылечил от рака покойную тещу папиного начальника. В доме пахло больницей, тоскиво позвякивали пузырьки, пипетки и мерные ложечки. Папа переселился в отдельную комнату, потому что мама теперь постоянно укладывала Павлушу к себе в постель, Павлуша плакал, а папа не высыпался. Мама тоже похудела, перестала ходить и по гостям, и в театр, вообще перестала выходить из дома — только в магазин да в аптеку,— и больше не надевала легкие светлые платья, не красилась, весь день бродила по дому в халате, накинутом поверх ночной рубашки, с нечесаными волосами.

Сначала Зина наблюдала за происходящим с тихим одобрением, в котором даже себе самой боялась признаться. То, что наконец-то счастливчику Павлуше не повезло, наконец-то стерлась с его мордочки бездумная самодовольная улыбка, то, что он перестал быть для родителей источником неисчерпаемой радости и умиления,— это наполняло Зину благоговейной верой в существование вселенской справедливости. Не все коту масленица — а Павлуша прежде казался Зине ужасно похожим на довольного кота. А значит, будет и на Зининой улице праздник.

Все равны, всем всего хватит, поровну отсыпят и горя, и радости, надо только подождать.

И действительно, о Зине в тревогах за Павлушу забыли, но ей от этого стало только лучше. И постель можно было неровно застилать, и обедать спокойно, и вообще жить без маминых благожелательных бесконечных замечаний:

— Не чавкай. Не сутулься. Убери локти со стола. Не топай. Не трогай — сломаешь. Почему «четверка»? Будешь плохо учиться — возьмут только в швей-мотористки.

Но потом Зина случайно увидела через приоткрытую дверь, как мама купает Павлушу. И от этих торчащих ребрышек, птичьих косточек, свежего красного кругляшка на спине мучительная жалость больно уколола ее в сердце, словно врач ковырнул инструментом зуб и попал в самый нерв.

Зина проскользнула к себе в комнату, задвинула дверь тумбочкой, усадила Ванду на покрывало у стены, сама села напротив и спросила шепотом:

— Это ты с Павлушей делаешь? Ты?

Ванда, разумеется, молчала, разведя в стороны точеные ручки. А спустя несколько секунд вдруг раздался щелчок, от которого Зина так и подпрыгнула на кровати. Это распахнулся сам по себе правый кулиин глаз, поврежденный любознательным Павлушей. Прозревшая Ванда смотрела куда-то сквозь Зину тем стеклянным взглядом, которым прохожие иногда бессознательно впиваются в сумерках в ярко освещенные окна или автомобильные фары.

Больше Зина не укладывала Ванду к себе на подушку, а потом и вовсе переселила ее в нижний ящик

стоявшего в коридоре комода. Ящик запирался на ключ, но рассеянная и грустная мама сказала Зине, что нечего лезть со всякими глупостями, надо же понимать, и ключи она ей не даст — потеряются еще.

А спустя несколько недель, ночью, мама проснулась от неприятного влажно-свистящего звука. Он и раньше ей досаждал — она думала, что шумит вода в батареях. Но в этот раз звук был очень громким и раздавался где-то у самого мамино уха. Испугавшись в полусне, что это Павлуша, что-то случилось с Павлушей, мама зашарила рукой по одеялу и наткнулась на плотный шевелящийся клубок. И пока она сонно хлопала ресницами, пока осознала, что происходит у нее под боком, буквально под боком, на нежной сатиновой простыне, — в памяти смутно, как при дежавю, мелькнуло летнее воспоминание. Она на даче, пьет кофе в тихом утреннем саду, что-то запуталось у нее в волосах и мягко щекочет щеку, она машинально, беспечно выпутывает — и вдруг понимает, что это какая-то многоногая хитиновая тварь с огромными жвалами...

Мама увидела Зинину куклу, оказавшуюся каким-то образом у нее в постели и прикинувшую к шейке Павлуши. И кукла двигалась, барахталась чудовищным насекомым, издавая тот самый влажно-свистящий звук. Мама закричала, кукла подняла голову, ядовитой зеленью вспыхнули в полутьме стеклянные глаза. Мама оттолкнула ее ногой, сбросила с кровати и дернула за шнур выключателя у изголовья.